

Пуговицы / продолжение

Category: Heкаýalar, Kitарсу

написано kitарсу | 24 января, 2025

Пуговицы / продолжение ***

Когда собака бездомная, что спит на улице, нуждается в пище, то она идет туда, где ее много – у того, кто ест. И хвост ее виляет, а глаз смотрит в рот чужой, но нет у животного ни ума ни понимания. Есть только голод. Просит собака: «Дай мне поесть, ведь ты сытый, а я – голодная». Один кость бросит, другой – пустой тарелкой швырнет. А бывает, что не только мякиш хлебный с руки даст, но и домой отведет. Нальет воды не из лужи, а из крана. И спать уложит на коврик. А не на асфальте. Только понимает собака, что любовь любовью, а ошейник в зоомагазине для нее уже присмотрен. Так что просить по крупице у тех, ко в лишнем не нуждается не лучше ли, чем всю жизнь в поводке проходить?

У докторов вожделение к людям редкое. Потому что когда человека вдоль и поперек глазками пытливыми пройдешь, когда все внутренности повытряхиваешь, пересчитаешь мысли, переберешь страсти – то разве что ослепиться пойти. Или выкинуться куда. Но тот доктор, который приехал ко мне в четный день нечетного месяца и владел руками той же породы, что кровяная колбаса. Пред глазами у него путались части тела, но любимыми были такие же, как у других. Судя по его рукам, голод был сильный: сначала ладони прошлись по плечам, ребрам, животу а затем как бы случайно тронули то, к чему без спроса не прикасаются.

Он тоже был голодной собакой, и пришлось делить кусок пополам, стыдливо отворачиваясь в разные стороны.

Бабушка не догадывалась, по какому желанию Бог создавал дурную кровь и пускал ее в синие вены. Зачем крутил судьбы в калачи и

резал их хлебным ножом. Какая ему с этого радость? Какая от этого отрада? Но не было в догадке этой ни злобы, ни отвращения, ни какой хотя бы даже гадливости. Просто Бог представлялся ей функцией малополезной – полки с ним не прибьешь, в суп не добавишь, за лепешку не расплатишься. А остальное она привыкла с собой в чемодане не носить. Где мало места – туда только самое избранное собирается: бельевая резинка, шприц от диабета, кусочек хозяйственного мыла.

Бабушка говорит, что если бы Бога не существовало, то отец бы его себе выдумал, как он выдумал бабушке мужа, который погиб на фронте, а себе – детские игрушки или велосипед. Жизнь посреди степи, куда они приехали на поездах, была медленной, как кисель: люди передвигались в ней кажется лишь потому, что их гонит жара и они ищут темные прохладные ступеньки. Женщина с уставшим лицом на рынке, которая продавала бабушке молоко, всегда спала, опершись скулой на костяшки пальцев. Лицо на столько привыкло, что послушно вгибалось, оставляя четыре ровных бугорка. И только человек с серыми камешками вместо зубов каждый день послушно кричал с минарета на каком-то своем птичьем языке. Бабушка нашла очередную фабрику с ковром, гобеленом и циновкой. Только вместо странных узоров, ярких птиц и сказочных фруктов на них плели впалые глаза Лидера.

Когда в степи заходило солнце, то кожа на руках приобретала розовый оттенок, как у молодых поросят в ту самую пору, когда их вот-вот должны зарезать.

Кажется, что город молчит, но на самом деле все в нем волнение: за улицы с ветхими домами, за кособокие зеленые ограды, за высохшие кусты. У города жизнь – одно терпение: пришел один – плюнул, пришел другой – кирпич двинул. Здесь – котлован, там – рассада. Переживает город: где у него улица повернет, а где остановится. Где дом посереет раньше времени, а где в закате гореть будет. Следит город, чтоб сквер хоть и плешью и покрывался, но не на столько, чтоб влюбленных не

закрывать от любопытствующих. Чтоб собачья площадка название свое оправдывала, чтоб проспекты полны были людьми спешащими, а переулки – созидателями. Чтоб каждому здесь и духу, и свету, и беде какой было свое пространство. Ведь живет в нем и вор, и поп, и Валька с веснушкой, раздражающей общественность.

А только ведь людям без города существовать можно определенно, а вот городу без людей бесполезно. Потому и все отставшее он в себе прячет. И на все неприменимое замок вешает. Дом чахлый всегда у него в глубинном дворике, стенка с трещинной – в тупике. И волнение это людьми ой как наследуется. От того жители городские судорожные, а дети их с запальчивыми играми. От того и окна никогда не открывают до конца – боятся напускать чужой тревоги. И двери закрыты, чтоб не допустить соседскую неврастеничность. И машины по-настоящему никого не ждут, кроме хозяев: ведь им тоже не нужна дополнительная сварливость чужих.

Так всякий добрый человек скажет: «Слушайся отца твоего так как он породил тебя». Но что слушать от отца своего, если стал он маленькой печенью? И если все от нее – это вой и раны без всякой на то причины? Багровые глаза у тех становятся, кто на кровь смотрит или на то, как зреет вино в красном винограде. И когда закрываются глаза не багровыми, то первое, что ищут, когда от сна пробудятся – того же самого раздражительного оттенка.

Гио шел с винительным падежом в кабинет к учителю, чтобы сказать «Сам ты говна кусок». Только в руках у него вместо тетради была бумажная шапка, закрывающая тонкую швейную иголку. Она пахла одновременно холодом, страхом и мамиными руками. Когда учитель делал с ним это в последний раз, на них смотрели только глаза Лидера со стены. Учителю непонятно. Учителю больно. Учителю страшно. Гио никогда не думал, что ужас так меняет носовые пазухи, а неожиданность заламывает губы.

Все-таки важно один раз разобраться и больше не путать винительный падеж с дательным.

Своею сущностью любая букашка подобна хоть льву, хоть жирафу, а любая капля – реке. А Лидер подобен всем нам. Отец всегда говорил, что лжесвидетель не останется ненаказанным, потому что правда свята и тени пред ней расступаются. Кто ложь пригреет – того она и сожжет. Только вот Лидеры никогда не сгорают, потому что разумеют с самого начала, что кто впереди, тот суд и творит. Кто слепых ведет, тот и определяет, на что они напоролись: на жбан с бомбами или полевой хвощ.

Отец никогда не рассказывал о матери, а бабушка иногда говорила, что ее погубила дурная кровь – съела изнутри так, что когда ее клали в землю, то гроб был крохотный, как если бы хоронили ребенка. Отцовский Бог тоже требовал от нее пищи, но между телом Христовым и телом дитя она выбрала последнее. Ведь сердце ее было преисполнено нежности, так что когда она смотрела на человека – оно все было сплошная жалость.

А еще ведь написано «Блаженны кроткие, они наследуют землю». Только какой им толк с этого наследования? Те камни, что им предлагаются – это дороги, которые проложили своенравные, те дома, в которые они войдут – башни до небес, отстроенные строптивыми, воды, в которых им предлагают омыться – это реки, повернутые вспять ладонями амбициозных и непослушных. Зачем монаху золотая вилка, если ест он с куста? Зачем верблюду перина из гусиного пуха, а гусю – фетровая шляпа? Зачем скопцу дева с алыми губами?

В то утро, когда одной кроткой стало меньше, над городом висел обычный свинец, а кладбищенские репейники к любому цеплялись с вопросом, когда он сюда вернется.

Красота человеческая – самый верный соблазн. Кто один раз

красоту истинную познал — все равно что рубашку надел из крапивы: тронешь мизинец — все тело полыхнет. И снять невозможно — пальцы обожжешь. Такие в волдырях по городу ходят в количестве ужасно многочисленном. Есть среди них и молодой организм и преклонный. А только крапива эта их ох как добивает: разве возможно какое здесь знание? Разве мысль какая параллельная возрастет? Ведь даже если придешь к брату своему и скажешь: «Не могу гореть больше», то брат тебе разве что рукавицы свои протянет из такого же точно материала. Красоты раб недолговечен: иные уродами остаются, другие же кожу приспособливают. Как бы уплотняя. Потому у них чтобы тело полыхнуло, надо множество дополнительных приспособлений использовать.

Скопцам же надобно пробовать красоту человеческую любить в самом ее первозданном виде. Да и скелет существа любого приятнее его нервной системы: не отягощена такая первозданность мелочностью, завистью или распаленным от спора лицом. Нет в нем от чего хотелось бы глаза жмурить или уши прикрывать. Скопцы не делают различий между скверной мужской и женской. Для них все одно, ибо красота сама по себе бесполоя и бесчеловечная, но творится субъектом в зависимости от культурных его особенностей и интеллектуальных пристрастий: кому девушку с веслом, кому метателя диска, кому гимназистку румяную. К скелету же никаких чувств иметь не можно: нечего выделить или отметить. В нечем узреть смысл кроме как названии. Большая берцовая кость сама по себе волновать может разве что собаку голодную. Но и она понимает, что слизать здесь нечего: сытостью не пахнет.

Но только глупец от дара отказывается, не узнавая ее полезность, а мудрец хранит до тех времен, когда сможет ее узреть. Потому собака кость бесполезную всегда в землю зароет.

Отец больше не мог ходить к подъезду с зеленой акацией потому, что за ним по пятам ходил мужчина с незапоминающимся лицом и

четырьмя пуговицами – «Сплетница». Он, казалось, интересовался всем тем же что и отец, только никуда при этом не годился: слишком пожилой, чтобы выдавать себя за студента, слишком молодой, чтобы кого-нибудь родить и вырастить, слишком незаметный, чтобы не притянуть взгляд. Иногда он чувствовал его запах на симфоническом концерте, а потом в перерыве видел, как тот сплевывает в не переваренные фа и ля в серую дырку раковины. Подходя купить холодный «Ситрон», он чувствовал чужое тепло предыдущих рук. Поднимаясь по лестнице, слышал, как давится ступенька под чужой ногой. Вместе с крестиком отец начал носить холодок, который передавал другим. Некоторые принимали этот холодок с излишнем дружелюбием. Другие – с надеждой на скорое избавление. Третьи – устало молчали, стараясь придумать старым названиям новые, чтобы сделать из ягоды орех.

А потом, разглядывая форзацы в библиотеке, он услышал голос милой женщины за конторкой, что всегда выдавала ему книги с каким-то особенным нежеланием расстаться. Не отрываясь от чернильной линии, она вдруг буркнула, как будто себе: «Вчера спрашивали ваш формуляр».

Лица она конечно не запомнила, но успела сосчитать четыре пуговицы.

Иногда от города веет жалостью, как от человека, в которого больше нечего вложить. Как от гадины, которую некуда спрятать. Она живет в углу, обсасывает и дерет орнамент на обоях, как будто это твоя печень. Город всегда убивает своих жителей некоторым напыщенным безразличием: вот, мол, умирай, а в перекрестке моем ничего не изменится, кроме отсутствия тех, кому выпала очередность больше не быть. Люди думают, что город – это воз сена, от которого надобно щипать, как умеешь. Но на самом деле это город щипает от каждого, пока тот огибает его бульвары.

Город не забывает ничего: ни очей с надеждой вместо зрачков взирающих на его небоскребы, ни горящих лбов, которые топят лед в автобусных стеклах. Ни одиноких, которые плутают среди асфальтовой пустыни, ни выкорчеванных бордюров. Ни томящийся строчек под чьим-то балконом, ни последнего вагона метро, увозящего с собой рассеянного спящего. Каждому городу свой житель. И каждому жителю свой город. И напрасно стажи его бодрствуют. Город сам выбирает где его жителям любить, где молиться, а где погибать. Так что бестолковое это занятие вставать рано, чтобы расходовать свое время в тяжелых жизнях, и заставлять жевать хлеб печали и лишений, думая, что рубаха перестанет пылиться. Только возлюбленным своим город позволяет спать. А если ты раб его, то не жди никакого вознаграждения.

Гио никогда не хочет чувствовать. Ему дивно, что можно перейти дорогу тем, кто не знает куда идти. Он посылает воду на сухие лица и ставит униженных на высоту. Он помогает успокоить тех, кто сетует, он разрушает замыслы и ловит мудрецов их же лукавством. Он помогает встретить тьму ночью, а слепым дарует удивление прозреть. Он врачует своими руками и ими же давит на чужое горло. У Гио как будто союз со всем, что боятся остальные – борщевик, астма, колющее острие, полевые камни, кровь. После него в горле першит спокойствие, а в ухо бьет сосуд, что никто не тронет твой шатер, не отворит твою дверь без спроса, никто не сотворит из твоей бумажной шапки клочки. Все отрасли твои сразу превращаются в сочную осоку. И гной становится ароматом. И боль становится чем-то похожим на удовольствие, которое испытать можно только с красавицей терпеливой и опытной. Рабов он меняет местами с царями. Царям вешает клоповый замок. Богатых доводит до обнищания.

Иногда я смотрю на него и думаю есть ли у него вообще плотские очи или он бог, который ждет окончания своей работы, не имея привязанности к тому, что создает?

Бабушка рассматривала шерстяное лицо Лидера каждый день и знала, где на его щеках бугорки, а где оспинки. Она владела всеми оттенками его носа и пересчитывала ногтем волосинки его усов. Ковер, гобелен и циновка тоже знали, но не подавали виду. Остальные сидели на больших высоких стульях, а бабушка на маленьком, голом и позорном стульчике. Она купила цветастый платок, чтобы не быть занозой в пространстве. А сыну – цветной халат, как у того мужчины с серыми камешками вместо зубов. Она смотрела на эту цепь из себя, ребенка и дурной крови и думала, что хлебный нож обязательно предупредит, если шерстяные глаза Лидера начнут моргать.

Однажды женщина с четырьмя бугорками на скуле сказала, что молоко для ее сына сегодня бесплатно. «Почему?» – спросила бабушка, проверяя на месте ли ее цветастый платок. Женщина несколько минут пыталась унять зеवоту, прежде чем начать собирать буквы в одну линию: «Война кончилась» – сказала ее соседка. И прикрыла свой следом растягивающийся рот серой потрескавшейся на солнце ладонью.

Бывает, что господь опустошает землю и делает ее бесплодной, а потом рассеивает по ней жителей и глядит любопытными глазами, как несчастные пытаются создать в пустыне сад: возделываются сухие корни чьими-то руками, льют ручьи из рек, которые вырывают на пустых местах, возводят хижины на неустойчивой песчинке. И каждый из несчастных обжигает легкие горячив воздухом, а все-таки на ограниченном клочке счастье свое конструируют. А захочет бог потом – пошлет дождей продолжительных. Или ветер уймет совершенно. Тогда воздыхает народ в трубы, славит его и орет ему песни. А в голову рабскую не приходит, что сад в пустыне – не то развлечение, не то кара божья, не то больная фантазия.

Да и что это вообще что за бог такой, что волосы пересчитывает когда нужно. А когда не нужно не знает об их количестве?

Так и город каждого лидера – лишь болячка, которую йодом

прижигают, а здоровее она от того не становится. Потому как все лидером созданное для фасада не имеет ценности. Придет другой бог, забудутся деревья в пустыне, флаги и башни. Забудутся бумажные шапки и школьные половые тряпки. Опустошится земля прошлого: дороги порастут бурьяном и осокой, фонари разучатся гореть, птицы – на чужие крыши гадить. Так все и простоит, пока и то не отомрет в безводье – там уж и песок веселья следы поглотит.

А новый бог новую землю создаст, и на седьмой день отдыхать примется.

Говорят, что кто вкусил удовольствие религии, тому мед мирской не сладок. Но у отца везде было сладко. Особенно слушать, как его призывают. «Я, Я Господь» – говорили его волосы над верхней губой, – «И нет Спасителя кроме Меня» – вторили ему почерневшие от времени пломбы. «Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы – свидетели Мои».

Дым его бога разлетался по соседним улицам, и на его запах приходили те, кто тоже хотел что-нибудь вдыхать. У всех них были свои пуговицы и замки, которые они хотели кому-нибудь показывать, если представится такая возможность. Они приходили к нему, полагая, что хотя бы он ведает, как поворачивать механизм и владеет всеми ключами. Отец провожал взглядом клопа, царя, мокрицу и болезницу, и каждому давал часть тех букв, которые уже успел изучить. И хоть из одежды его выходила моль, а из всего написанного – лишь половина запятых, он не жалел мускулов, вознося почитание всевышнего, не забывая упомянуть своего имени.

В каждого из нас с детства закладывают отделять тьму от света. Да только тьма имеет оттенков множество: и ночи зимней, и комнаты твоей, и человеческой души. И стремлений помыслов. И тьма в смысле количества всего на земле нужного. И каждую тьму

в этом возьми и разная она станет и несравнимая друг с другом. И для света картотека получается самая что ни на есть обширная: свет в смысле волос ли, или в смысле самом сердечном, и в помещении каком радость и святила помощь. И каждый свет на другой похож не будет, а вместе соберешь – разная дальность, калибровка и желание уведенным быть. А еще свет в лесу глухом совсем не то что в кухне. А свет в глазах провинившегося совсем не то, что в глазах праведника.

Вот и получается, что объясняют нам только про крайнюю ограду самого дальнего поля. Куда избранный только пойдет, да и то, брюхо свое уткнув в ограждение, так сразу и не сообразит, что перед ним возвышается.

Игра «Семья». Все участники должны поделиться на группы и договориться о своей роли в соответствии с надобностями и внутренней расположенностью. Затем каждый должен придумать себе то дело, которое другие участники примут за соответствие выдаваемой роли. Каждый должен приняться за тщательное исполнение ее ради благосостояние семьи в самом широком смысле. Игра заканчивается, когда хотя бы одному человеку надоест его роль.

Бабушка не знала, почему хлебный нож позволил ей вернуться туда, где у нее забрали мужа. Она шла по улицам и смотрела, как тротуар прогибается и уходил из-под ног. На ветках деревьев все еще свисало горе тех, кто кричал свои молитвы в облака. В домах больше не было людей, которые знали радость – тех, кого не вытряхнул оттуда Лидер, подобрала война. Когда смерть становится фабрикой, то отдых от нее – это только собственное несуществование. Все лица, встреченные на улице были одного авторства. Бабушка остановилась попеременно у горбатых домов и у заборов с неприличными строчками, пытаясь найти хоть что-то, что не пахнет могилой. Из внутренности двора выбежала тонкая крыса. Она подбрела к наваленной кучке с грязью и принялась внимательно обнюхивать содержимое, как бы

ища среди остатков то, что еще можно испробовать на второй раз.

Почки бабушкиного языка вспомнили кисель, а уши вспомнили звук бомб. Чуть выше запястья в венке забились злость и жалость. Крыса заинтересованно повернула изуродованную мордочку и втянула носом воздух.

Бабушка сперва сняла сарайчик в пригороде, подумав, что опасно жить там, где даже крысы чуют дурную кровь.

Первый раз было что-то не то с пейзажем – стена оказалась слишком светлой. А затем отрок, что пришел к Гио за утешением оказался не достаточно осторожен. Лицо его было лицом народа, что давно разорен и разграблен. Из тех, кто никогда не возвестит «Отдай назад», но из тех, кто, присмотрев себе полезное, будет не любоваться, а возжелать это сильно настолько, что от печени останется лишь первая согласная буква. От скуки своей накормит он голодную собаку камнями, а в цветок нальет то, что будит мощь в железных автомобилях. «Ничто вы и дело ваше ничто» – говорили глаза отрока всему, что встречали.

Кормить такое зло все равно что для себя готовить прямой путь в винительный падеж. Гио слишком поздно распознал в своей наковальне кузнеца, который разглаживал молотом листы. Печень чужого желания горела так, что огонь вырывался наружу.

Женщина, которая дала бабушке работу принимала свою жизнь за справедливую кару. У нее почти не было волос, так что свет ламп отражался в ее голове так, как будто она была еще одной из них. Когда солдаты покидали ее родную деревню, то все как были жадны на патрон. Один из офицеров, тех самых, у которого вместо сердца осталась спичечная головка, а вместо мы(с)ли – разъяренность, велел приволочь мешок соли и сам кормил ее с ложки пока алюминий не уперся в дно. Женщина говорила, что все

имеет причину. И еще про то, что яблоки редко укатываются на протяжительные расстояния.

Бабушка слушала так, как будто никто не забирал ее мужа в ту ночь. И как будто ее рука никогда не была отдана фабричному станку. Она думала, что приговоренным к смерти можно быть разными способами. И это один из них. Тряпка в ее руках внимательно направлялась по деревянным доскам, стараясь выскрести из дыр то нездоровое, которое люди приносят с собой на ботинках.

Первый раз хлебный нож дал осечку, когда в квартиру пришли забирать книги отца. Они рассыпались по паркету знаками препинания и царапали ноги тех, кто по ним ходил. Лица их были незапоминаемы, а голоса беззвучны. Их пуговицы невозможно было сосчитать. Они кормили своего бога прямо в комнате, не стесняясь стряхивать пепел на не свои простыни. Отец смотрел на их руки, которые трогали все, что вздумается и боялся, что наверху не успеют заметить, когда сего головы исчезнет несколько волосков.

Отец говорил им: «Горе вам, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего. Чтобы вдов сделать добычей своею и ограбить сирот».

Когда люди молча растворились там, откуда их не ждали, бабушка смотрела везде, где была вода, но дно хранило молчание. Тогда она включила кран в ванной и ждала пока вся вода вытечет. Ведь она слышала, что где-то в стене барахтался ее хлебный нож, цепляясь острием за стенку канализационной трубы.

Судья не сразу заметил Гио, чтобы выдать ему винительный падеж – так хорошо он слился с коричневым стулом. В зале были только

те, кому не интересны чьи-то судьбы, а свет в потолке мигал от нетерпения проводить следующего туда, где все перестают быть разными. Пока скучный голос читал то, чему надо будет подчиниться, Гио смотрел на впалые глаза Лидера и думал о том, что будет со всеми отроками, у которых рвут бумажные шапки с головы и топчут ногами сердце. Кто теперь будет приносить им утешение и открывать их замки? Никто не пощадит их быта, и каждый из них станет пожирать мышцу своего тела.

Его ни в чем не противоречащая жена разделяла его ад, сохраняя тишину. Гио смотрел на ее тонкие пальцы, которые стирали его одежду и губы, которые целовали его мохнатую грудь и думал: «Для коня – кнут, для осла – уздечка, а для глупой – палка. А ты кто?».

«Глупая» – отвечала она ему через весь все пространство, которое было кем-то назначено в себе во владение.

Скопец – это тот, кто хочет прервать дурную кровь. Это горящее сердце, которое не хочет соглашаться. Это ор, который ударяется в стены коридора, когда его просят быть одинаковым. Это чаша боли, которую нужно выпить и облезать черепки. Это высказать мерзости каждому и иметь кровь на руках своих. Это осквернять то, что другие привыкли почитать. Это слушать хлебный нож, когда он скребет по дну металлического кувшина. Это отдать все бомбы фабрикам, а все ковры – Лидерам. Это не повторять окончания винительного падежа. Это не рвать чужую бумажную шапку. Это не просить свою печень принять размер спичечной головки. Это не петь имя того, кто хочет больше гласных. Это не желать тех, кто хочет чтобы их желали.

Но чтобы видеть уродство, надо его не порождать. Чтобы дарить любовь, надо ее иметь. Чтобы садить семя, надо уметь землю выбрать такую, чтобы взошло на ней. Или иметь силы из грязи сделать землю. А сделав из грязи землю, не примешься делать из пустыни сад?

Почерк Гио невозможно рассмотреть потому, что буквы хотят принимать цвет бумаги. Они пахнут одновременно половой тряпкой, железом и куском дешевого мыла. Гио пишет, что когда гуляет, то смотрит на окна, которые никогда не бывают пустыми. В них всегда кто-то томится, как и в городе Лидера, где каждый может гулять не по звонку и кормить свою печень любыми желаниями, которые вздумаются. Между решетками висят тросы надежды, которые каждый тянет для себя, надеясь вытащить бумажную шапку. Но вытаскивает только столовскую кашу, которую больше не можешь есть. Когда прогулка заканчивается, то его ведут вдоль бетонной стены, где торчит кусок ржавой арматуры. Если стать правильно, пока ждешь, когда щелкнет те самые замки, которые ты не смог открыть, то тень отбросит на землю совсем не тебя, а хлебный нож, который наконец-то дотянулся до твоего тела.

Гио обычно нечем заполнять весь лист, а поэтому он просо оставляет его пространству. Оно само разберется, как лучше тебя изменить, если ты боишься его трогать.

Человек, который перебирал папку, брил волосы на голове, а пуговиц на его кителе было всего 3. «Воображала» – сразу понял про него отец. Человек пожаловался на то, что дождя сегодня слишком ничтожное количество: жара давила грудь и терла по шее потным воротничком. На столе свет преломлялся в графине с водой, на стене – в портрете Лидера с впалыми глазами. В окне висел пустой кусок неба. Отец смотрел в него и приготавливался быть святым. Человек аккуратно соединял все слоги, боясь споткнуться там где не следует. Но папка не могла обмануть – бесстрастная сборщица неосторожностей. Она просила, чтобы человек с тремя пуговицами знал, кто из людей приходит в церковь, чтобы нести недостающие фразы в молитву. Он также хотел знать все про зеленую акацию и стук костяшек во входную дверь. Отец молчал. И пустой кусок неба – тоже.

Человек с тремя пуговицами доставал из папки листки и лениво пробежал глазами, делая остановку на любопытных для себя словах. Звенел в графин: «Его будут уповать народы», а потом вытирал пот со лба и задумчиво пихал лист в рот святому. Бумага была на вкус, как тело Христово.

Отец обещал приходить каждую пятницу, чтобы рассказывать про тех, кто приносил ему свои замки. На обратном пути он внимательно изучал каждое дерево, как бы прикидывая, кто из них мог бы внять его скорбь, но не проговориться.

Доктор, что приехала поздно ночью не в настроении была показывать свою божественность: в одном глазу у нее была невралгия, а в другом – подозрение на рак желчного пузыря. Ее руки были руками станочника, но только вместо кнопок – чужие плечи, голени и бедра. Легкие ее хрипели – наверное она только что кормила своего Бога перед домами, которым нужен номер, чтобы отличаться.

Молодость особенно хороша в том, что может смущать: функция, запускающая сразу два механизма. Для одного он выйдет бедой, для другого – сладостью. Хотя в случае доктора наблюдался и третий – пренебрежение. То есть то, что вообще не дает плодов. Кожу ее пальцев можно было легко не отличить от молока, но они сами молоку подобны не были – свободно не текли, горячий живот не остужали,

Ничто человека не гадит так, как другой такой же человек и ничто его не делает лучше. Ее щеки вспыхнули, когда она поняла, для чего на самом деле нужны были руки доктора.

В повисшей тишине было слышно, как капилляры несли в крови страх. Она попыталась что-то выговорить, но кормление Бога никогда не проходит по-настоящему бесследно: горло кашляло теми мыслями, которые она проглатывала вместе с дымом, когда оставалась одна.

Женщина без волос плакала в присутствии остальных. Ее лоб был красен, как если бы это был не лоб, а площадь в центре города, где топчут бесконечные парады. Никто не произносил ни слова, но в комнате было шумно от ора внутренних голосов. Каждая грудь держала свой всхлип. Каждое горло проталкивало слюню, затыкая крик. Это был один из тех дней, когда «навсегда» перестает быть «всем». Лидер смотрел на слезы впалыми глазами. Только сбоку висела темная лента, пришпиленная чьим-то участием. Бабушка почувствовала, как капелька ползет по щеке влажной мухой, осторожно перебирая лапками куда-то к подбородку.

Когда каждый выплакал положенное, то комната вздохнула пустотой. Тряпка привычно ласкала объединенные жучками доски, когда в дверях появились две восковые ноги. Бабушка перевела взгляд от что-то, что когда-то было похожим на туфли и увидела счастливое лицо, на котором соль проступала прямо через кожу. А потом безволосый череп сказал: «Пойдем допьешь, что усат протух!».

Игра Лидер. Игра, в которой принимают участие хотя бы два человека. Что нужно для игры? Стул или любой другой предмет, который можно обозвать троном, удочка и пиджак или предметы их изображающие. Человек, который будет Лидером должен быть всегда прав и смел, но делать что-то сам не имеет желания. Остальные участники игры должны ему во всем подчиняться. В случае неповиновения Лидер должен взять на себя обязанности по суду и свершению правосудия. Провинившийся должен с благодарностью принять свою участь. Игра заканчивается по совместному решению всех участников.

Отец раскладывал слово господне на диване, ставил в книжный шкаф и даже вешал на стены. Но при ближайшем рассмотрении от целого слова оставалась лишь та самая гласная, которую кричали из телевизора. Из вежливости ее старались не слышать, но отец всегда принимал вежливость за слабость. Некоторые люди

избегали его, потому что любой звук может стать сигналом бедствия, если его повторять постоянно.

Теперь Лидер не запрещает петь имя господа. Но петь его нужно было так, чтобы Бог тоже понимал, где его место.

Бабушка терпит свою больницу, как терпела фабрику. Но можно ли это назвать любовью? Здесь тоже переламывают человеческую степень, но без металла. Смотреть в воду ей разрешают только в определенные часы. От этого даже струйка в кране становится плавной, чувствуя свою легальность. А еще бабушке нравится, как поет ее соседка Маленькая Рита. Ее песни звучат на языке, который никто не создал, но смысл ясен всем, кто хоть немного знает Маленькую Риту – она поет о любви и родной стороне, в которой больше никогда не побывает. Вокальные прямые не пугают тех, для кого ад стал просто еще одним днем. Но иногда даже бесам требуется отдых. Иглы входят в чужие вены также, как мы входим в чужие мысли – преодолевая некоторое сопротивление. После укола Маленькая Рита некоторое время шевелит рукой, любясь синим пятном на сгибе – единственное озеро, в которое здесь можно нырять.

Молчаливая тропа от больницы до станции занимает 45 минут и все сорок пять минут нужно идти вдоль серого бетонного забора. Потому что всегда найдется кто-то, кто никогда не захотел бы услышать чужие песни.

Об авторе: АННА ВЕКШИНА

Родилась и выросла в Москве. Закончила психологический факультет МГГУ им. Шолохова. Публикации в журналах: «Точка.Зрения», «Florida Russian Magazine», «Новый мир», «Стенограмма», «Современная драматургия», «Полутона». В 2018 году вышел дебютный сборник документальной прозы «Рыцари индустрии». Neкаýalar